

Лит. газ. 1985, 15 мая

«...ПАЛ СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ»

Павел КОГАН.
Северо-Кавказский фронт,
сентябрь 1942

„ЕСТЬ
В НАШИХ ДНЯХ
ТАКАЯ ТОЧНОСТЬ...“



ПАВЕЛ КОГАН писал о точности дней, то есть о точном совпадении времени и судьбы. Он верил в то, что судьба его поколения станет легендой.

Он сам уже стал легендарен. Свой портрет, увиденный из наших времен, он очертит в стихах. Строгий, острый взгляд слегка прищуренных глаз (он был близорук). Юноша-поэт, воин, «в двадцать пять внесенный в смертные релянции». (Только на год ошибся. Может быть, вся страна ошиблась на этот год в предвидении войны.) Автор «Бригантины» (она написана была на грани отрочества и юности).

«Бригантину» он всерьез не принимал. Но ее запели. Сперва в дружеских компаниях, потом в ИФЛИ, нашем институте. Пели и другие песни — «О, Сюзанна», «Холодина си-

няя», «В тумане расплываются огни». Была потребность в песнях не только строевых и масовых. Пели песни, потом забили. А «Бригантина» осталась, может быть, предвестницей искусства Окуджавы.

Сказать бы тогда Павлу, что из всего им написанного самой известной останется его песенка, он бы рассердился или рассмеялся.

Он был человек широких планов и больших замыслов. Но мы часто не знаем, что именно угадали в своих песнях.

На прифронтовой станции слышал, как пели «Бригантину» девичьи голоса. А однажды наш старшина, человек из алтайской деревни, запел мощным своим басом, путая слова и перевирая мелодию, песню, в которой я узнал «Бригантину». «Авантюристов» он пере-

крестил в «кавалеристов». Откуда бы им взяться в море?

— Ты где эту песню выучил?

— Давно знаю. Старинная песня, — отвечал старшина.

Музыку к «Бригантине» сочинил близкий друг Павла Георгий Лепский. В 39-м году мы его провожали в армию. Он прошел всю войну. Это ему посвящены стихи, где есть вещи строки о внесенных в смертные релянции в двадцать пять лет.

В пророческом свойстве поэзии нет ничего туманного. Поэт — ясновидец, если он ощущает точность времени. Тогда в

слове — судьба. Легенды живут по-своему, все отдаваясь от реального сюжета. В них патетика побеждает трагедию. Наверное, так нужно. Ведь легенда — людское творение, а в ранней смерти торжествует нелюдское.

Но никак не могу отрешиться от того, что Павел погиб так рано. Никогда не могу забыть письма, полученного в госпитале, из которого, чуть не через полгода, узнал о гибели Когана.

«Потеря невозможная», — писал мне тогда И. Крамов. Зная характер Павла, могу себе представить, как все это

происходило. Наверное, очень нужно было взять языка. Предстоял трудный ночной поиск в районе высоты Сахарная голова. Коган, переводчик полкового разведотдела, мог бы дожидаться в штабе, когда разведчики приведут пленного. Или не вернуться. Он сам напросился в поиск. Он был смел и азартен. Не мог не пойти.

Человек он был яркий, отважный. И своим однополчанам навсегда запомнился. Поминается он в мемуарах самого высокого ранга.

А вот стихов фронтовых не осталось. Может, и не писал он вовсе в те годы, увлеченный ратной работой. Может, не укладывались в стихи те необычные и необычайные впечатления. Я это по себе знаю.

Все трудней писать о Павле Когане, да и о каждом из тех, кто молодым не вернулся с войны. Кажется, что короткую жизнь описать легко. Что там? Школа, институт, несколько стихов, война. Но живые не укладываются в рамки сказания. Их можно понять и оценить в контексте времени и среды, во всей сложности связей и постижений, в том блестящем окружении, в котором они жили.

История сложна, и поколение наше сложнее, чем оно казалось. Оно было рождено для одной эпопеи. И в ней выполняло свое назначение. Павел Коган замахивался на несколько эпопей. Здесь кончалась «точность дней», и все виделось в романтическом тумане.

В 1939 году Илья Львович Сельвинский собрал чуть не всех способных молодых поэтов Москвы в семинаре при тогдашнем Гослите.

Сам еще молодой, но давно прославленный поэт, он отдавал нам много времени и сил, воспитывал, учил, затевал споры, хвалил и раздвигал по заслугам. Приучал нас в поэзии к гамбургскому счету. Мы ему верили и многим обязаны. Он обладал замечательным

чутьем и пониманием таланта. Все, кого отличал, стали поэтами.

Павел на семинарах Сельвинского выступал замечательно. Он не терпел расслабленности ни в строке, ни в мысли. Высоким, срывающимся голосом, отбрасывая худой рукой волосы со лба, он громил или хвалил, темпераментно, категорично, во всем азарте и блеске своего ума.

Из этого незабываемого семинара вышла наша дружеская компания: Коган, Наровчатов, Кульчицкий, Слуцкий. Рядом были Луконин, Майоров, Глазков, Львов. В младших ходили Гудзенко и Левитанский.

Характер у Павла был трудный, угловатый («с детства не любил овал»), прямолинейный. Любил верховодить. Но в компании равных приходилось унимать себя, что порой бывало ему нелегко. Был негласный договор, что никто не претендует на лидерство. Мы любили, ценили друг друга и верили, что все станем поэтами. Разговор о стихах был остроугольный, беспощадный. Но на личности переходить не допускалось.

Павел любил друзей нежно и преданно. Он не просто «х» любил, но и старался лепить по своему идеальному замыслу. И настойчиво требовал, чтобы замыслу этому следовали в жизни. И некоторые старались, примерялись. Да и сам Павел примерялся к своему созданию. Об одном нашем друге Слуцкий сказал: «Павел его делает таким, каким хотел бы быть сам».

Мне он отдал роль летописца. В начале войны сказал: «Тебе на войне делать нечего. Ты лучше напиши про нас».

На войне мне дело нашлось. А вот «про нас» еще толком не написал.

Встреча нового, 1940 года была нервной, напряженной, взвинченной. Мы собрались у Павла. Провожали на финскую Сергея Наровчатова и Михаила

Молочко. Не думали, что Молочко видим последний раз.

Зима стояла холодная, снежная. Павел томился, был озабочен своими глубокими переживаниями. Расспрашивать не полагалось. Часто приходил ко мне. Вяло о чем-то разговаривали.

Однажды спросил у него: — Что важнее — любовь или стихи?

Ответил не задумываясь: «Любовь». Он всегда ценил свою принадлежность к жизни выше, чем принадлежность к литературе. Может, оттого и не писал на войне.

В нем тогда вызревал замысел романа в стихах «Владимир Рогов». Но о нем не говорил. Замах был дерзкий — на «Евгения Онегина» наших дней. Никто из нас тогда, да и позже, на это не решался.

Павел ждал, пока созреет стих, и, если не ошибаюсь, первые куски из романа прочитал осенью 40-го года. Место и обстоятельства этой первой читки хорошо помню. При Союзе писателей тогда существовало объединение молодых поэтов, руководимое Иосифом Уткиным.

Была назначена встреча над, сельвинцев, с уткинцами. И надо сказать без хвастовства, что наши стихи оказались намного интереснее. Это сам Уткин великодушно признал. После встречи мы в радостном настроении облизали весь Дом литераторов, зашли на антресоли деревянного зала, и там, развалившись на мягком диванчике, Павел уверенно произнес:

— Все здесь будем!

Угадал, но не знал тогда, что он и Кульчицкий будут только на мемориальной доске в вестибюле дома на улице Герцена.

Там, на антресолях, Павел впервые прочитал друзьям большие куски из романа в стихах. Тогда он еще не имел названия.

О романе мы много спорили. Он был сложно задуман, черты автобиографические пе-

реплетались с историей времени и с патетическим предвидением будущего. Он писался как эпопея до того, как наше поколение обрело эпопею. И в этом была особая смелость.

Стилистически «Владимир Рогов» не был однороден. В нем перекрещивались многие влияния — и традиция русской классической поэмы, и пафос поэмы Маяковского, и опыт поэмы Сельвинского и Пастернака. Да и многое другое, в чем предстоит еще разобраться литературоведам. В нем отразились все наши тогдашние вкусы и пристрастия.

«Рогова», как, впрочем, и все, написанное нами, судили строго и нелюбезно. Думаю теперь, что недооценивали. Не было еще исторического расстояния, и далеко еще до подведения итогов работы поэтического поколения.

На работу над романом после первого чтения отведен было чуть побольше полугода.

Перед самой войной Павел поехал в геологическую экспедицию в Закавказье. Встретился мы с ним в начале осени, когда немецкие дивизии двинулись по Смоленщине. Я вернулся оттуда с трудовых работ. Павел с приключениями добрался из Закавказья.

Павел тут же предложил план действий. На улице Мархлевского, в здании бывшей школы, набирали людей на курсы военных переводчиков. Мы с ним отправились туда. Первый вопрос, который нам задали люди, принимавшие документы, знаем ли мы немецкий.

Павел уверенно сказал, что знает. Я промямлил что-то невразумительное.

Там, на улице Мархлевского, и расстались мы навсегда. Обнялись.

— Береги себя, — сказал Павел, — таким, как ты, на войне плохо.

О себе он не беспокоился. Война разбросала нас. Письма не доходили.

Д. САМОЙЛОВ